

ЮБИЛЕЙ ФЕДОРА ИВАНОВИЧА ТЮТЧЕВА. POST FACTUM

Публикуются материалы докладов и выступлений, прозвучавших на заседании университетского научного семинара «Русская идея» (О. В. Зырянов, В. И. Копалов) и собрании литературной гостиной УрГУ (Г. К. Щенников, Е. К. Созина, В. В. Химич, Ю. И. Новоженев) и посвященных 200-летию поэта.

О. В. Зырянов

О ЗАДАЧАХ ПОЗНАНИЯ ТЮТЧЕВА

Юбилей поэта (200 лет со дня рождения) – удачный повод задуматься над феноменом Тютчева и местом его творческого наследия в русской культуре. Только юбилейные размышления подобного рода не следует рассматривать как очередные славословия в адрес гениального русского поэта-лирика. Они актуализируют в первую очередь настоятельную попытку ревизии уже имеющихся интерпретаций тютчевского творчества и постановку новых задач его познания, исходящих из потребностей современной культуры и контекста «большого времени» (термин М. М. Бахтина).

Наверное, самая важная проблема, которую задает поэзия Тютчева, – это проблема эстетического восприятия. По точному выражению самого поэта, «нам не дано предугадать, как слово наше отзовется». Постигание же творческого наследия Тютчева в очень большой степени осложняется следующим обстоятельством: «Талант его, по самому свойству своему, не обращен к толпе и не от нее ждет отзыва и одобрения; для того, чтобы вполне оценить г. Тютчева, надо самому читателю быть одаренным некоторою тонкостью понимания, некоторой гибкостью мысли, не остававшейся слишком долго праздною. Фиалка своим запахом не разит на двадцать шагов кругом: надо приблизиться к ней, чтобы почувствовать его благовоние» [Тургенев, 1981, 106]. Именно с такой фиалкой, не разящей чрезмерно кругом своим запахом, но тем не менее радующей взгляд и вкус самого взыскательного знатока и любителя изящного, можно было бы сравнить лирическую поэзию Тютчева. Элитарность лирического рода искусства, помноженная на высочайшую культуру духовных мыслей и чувств, что, собственно говоря, и представляет тютчевская поэзия (в этой связи напомним известную фетовскую оценку книги стихов поэта: «Здесь духа мощного господство, / Здесь утон-

ченной жизни цвет»), задает поистине не простую работу для ума и сердца современного читателя.

Проблема восприятия поэзии Тютчева осложняется тем, что не сводится лишь к сугубо субъективной компетенции реципиента, к области индивидуального читательского вкуса. Наверное, самый важный и до сих пор однозначно не решенный вопрос науки о Тютчеве – это оценка истинного масштаба его творческой деятельности. Так, в привычном общественном сознании Тютчев до сих пор остается неким поэтом-любомудром, «тихим» проникновенным лириком, представителем направления «чистого искусства». Но Тютчев как политический поэт и оригинальный мыслитель, дипломат и патриот, европеец и панславист, ставящий в своем творчестве (в том числе и публицистическом) важнейшие для своего времени историософские проблемы, – еще одна грань духовной личности художника, которой ни в коем случае не следует пренебрегать.

Необходимо помнить, что менее всего Тютчев может быть «уличен» в квасном патриотизме и служении государственному заказу (обвинения подобного рода в адрес поэта находим в некоторых интервью И. А. Бродского). Утопические представления о России как великой православно-христианской державе, образующие своего рода «поэтическое мифотворчество» (В. В. Кожинов), соседствовали у Тютчева с резко-критическим отношением к государственной политике, в частности к внешнеполитическому курсу царского правительства, о чем свидетельствуют достаточно смелые афористические суждения поэта: «...Власть в России на деле безбожна...»; «В России канцелярии и казармы. Все движется вокруг кнута и чина»; «Русская история до Петра Великого сплошная панихида, а после Петра Великого – одно уголовное дело»; «Это война кретинов с негодьями» (о Крымской войне).

В специальном исследовании Ефима Курганова «Тютчев-мыслитель» проводится вполне обоснованное сравнение русского поэта с древнегреческим философом Сократом – именно по линии богатой культуры устного выступления: «Можно сказать, что Тютчев был Сократом, скрещенным с пифией. <...> Кажется, древние греки лучше бы поняли истинные масштабы и предназначение Тютчева» [Курганов, 1999, 196]. Спору нет: оживление устного стиля Тютчева-мыслителя во многом объясняется его предубеждением на счет письменной культуры вообще, аттестуемой им не иначе как «второе грехопадение злосчастного разума». Но при этом нельзя забывать такой существенной стороны творческого наследия Тютчева, как его переписка (к ближайшим родственникам, друзьям и политическим деятелям), насчитывающая более тысячи страниц и, к сожалению, до сих пор не изданная в полном объеме.

Вот только несколько извлечений из писем Тютчева, по-особому резонирующих в современной политической ситуации. «Разложение повсюду. Мы двигаемся к пропасти не от излишней пылкости, а просто по нерадению. В правительственных сферах бессознательность и отсутствие совести достигли таких пределов, что этого нельзя постичь, не убедившись воочию» [Тютчев, 1980, 220]. «Все зависит от того, как славяне понимают и чувствуют свои отношения к России. В самом деле, если они – а к этому весьма склонны неко-

торые из них, – если они видят в России лишь силу – дружескую, союзную, вспомогательную, но, так сказать, внешнюю, то ничего не сделано и мы далеки от цели. А цель эта будет достигнута лишь тогда, когда они искренно поймут, что составляют одно с Россией, когда почувствуют, что связаны с нею той зависимостью, той органической общностью, которые соединяют между собой все составные части единого целого, действительно живого» [Тютчев, 1980, 216–217]. Не менее актуально прочитывается и следующее замечание поэта-мыслителя о том, какие «негодяи» и «выродки» управляют Россией: «Есть одно несомненное обстоятельство, но до сих пор оно еще недостаточно исследовано... Оно заключается в том, что паразитические элементы органически присущи святой Руси... Это нечто такое в организме, что существует за его счет, но при этом живет своей собственной жизнью, логической, последовательной и, так сказать, нормальной в своем пагубно разрушительном действии» [Лит. наследство, 1988, 334].

Однако обратимся к философской лирике поэта. Чтобы определить подлинное «лицо» тютчевской поэзии, необходимо прежде всего уяснить проблему ее генеалогии, или, иначе, происхождения индивидуальной творческой манеры художника. И по этому вопросу академической наукой о Тютчеве было высказано несколько гипотез, заслуживающих самого пристального внимания (наметим лишь наиболее важную и существенную линию изучения данного вопроса – имена таких исследователей, как Л. В. Пумпянский, Ю. Н. Тынянов, Б. М. Козырев, В. В. Кожинов, Г. Гачев, В. Н. Топоров и др.).

Исходной посылкой в решении проблемы поэтической генеалогии Тютчева является тот непреложный факт, что поэт на четыре с половиной года младше Пушкина и на этом основании примыкает к иной литературной генерации – так называемым любомудрам (С. Раич, Д. В. Веневитинов, В. Ф. Одоевский, С. П. Шевырев, А. С. Хомяков и др.). Начало его поэтической деятельности приходится на рубеж 1820–1830-х гг. – это и есть тот исторический контекст, который позволяет по достоинству оценить феномен Тютчева. Согласно точке зрения Ю. Н. Тынянова, Тютчев – поэт-архаист, воспринявший традицию одической поэзии Державина и скрестивший ее с мелодической линией Жуковского, причем все это в обход корифею Пушкину [см.: Тынянов, 1977, 38–51]. Данная концепция получает серьезное подкрепление у В. В. Кожинова, который попытается радикально развести две основные «школы» в развитии русской поэзии — пушкинскую и тютчевскую [см. об этом: Кожинов, 1982, 3–19].

Заметим, что в русской классической литературе давно обозначилось деление на два направления: в прозе – пушкинское и гоголевское, в лирической поэзии – пушкинское и тютчевское (по другой версии: пушкинское и лермонтовское). О сущности этого деления еще в начале прошлого века очень точно высказался Н. В. Недоброво: «Тютчев, как это ясно видно, в сильнейшей мере особенен от Пушкина. Он не пошел по дневному небу Пушкина, где в сиянии этого лучезарного солнца потонуло и не столько звезд и где бы он только белел, “как облак тощий”. Тютчев пошел по своему ночному небу и засиял на нем полным мистическим месяцем. И как для нашей земли месяц, после

солнца, является вторым светилом, так и Тютчев имеет все основания почитаться для нас вторым, после Пушкина, русским поэтом» [Недоброво, 2000, 309].

Известны и более смелые попытки не только обособить поэзию Тютчева от пушкинского направления, но и вообще вывести ее за рамки национальной культурной традиции. Известно, что долгое пребывание Тютчева за границей (дипломатическая миссия в Мюнхене – этих «германских Афинах») и сближение с культурой европейского романтизма (личное знакомство с Шеллингом и Г. Гейне) наложили неизгладимый отпечаток на всю лирику поэта. Это и дает основание некоторым исследователям, например, В. Н. Топорову, считать Тютчева «немецким романтиком, писавшим по-русски» [Топоров, 1990, 54]. Однако данное заключение даже в отношении к лирическому творчеству поэта 1830-х гг. не может быть принято без существенных оговорок. Выражение исконно славянского взгляда на мир (например, решительное предпочтение природных стихий света и воды), запечатление в стихах «идеального состава русского человека» [Гачев, 1988, 174–349], или, как убедительно покажет Б. М. Козырев, почти бессознательное схождение с мифологическими представлениями древнегреческих философов милетской школы (Фалеса, Анаксимандра, Анаксимена) [см.: Козырев, 1988, 97–112] – все это поражает в поэзии Тютчева заграничного периода ничуть не меньше, чем близость к немецкой поэзии и философии.

Более того, долговременное пребывание поэта за границей, предполагающее также и длительные отпуска на родину (соответственно в 1825, 1830 и 1837 гг.), не мешало ему откликаться на важнейшие события русской общественной жизни: например, на восстание декабристов (стихотворение «14-ое декабря 1825») или на трагические обстоятельства гибели Пушкина («29-ое января 1837»). В последнем стихотворении Тютчевым закладываются основы национального мифа о великом русском поэте – народном мессии: «Тебя ж, как первую любовь, / России сердце не забудет!..»). Заклеймив убийцу поэта именем «царевубийцы», Тютчев недаром возводит убиенного Поэта в ранг национальной святыни: «И сею кровью благородной / Ты жажду чести утолил – / И осененный опочил / Хоругвью горести народной» [Тютчев, 1965, 88]¹. Оценка роли и места Пушкина в русской культуре определена у Тютчева духовно-религиозными основаниями народной правды.

С именем Пушкина в творческой биографии Тютчева связан еще один примечательный факт. В третьем и четвертом томах пушкинского журнала «Современник» за 1836 год состоялась публикация 24 стихотворений Тютчева под общим заглавием «Стихотворения, присланные из Германии» (заглавие цикла, предположительно, дано самим редактором – Пушкиным). Данная подборка, уже включающая в своем составе такие общепризнанные лирические шедевры, как «Цицерон», «Фонтан», «Я помню время золотое...», «Silentium!», «О чем ты воешь, ветер ночной?», «Душа моя – Элизиум теней...»,

¹ Далее в тексте статьи все стихотворные цитаты из Тютчева приводятся по первому тому данного издания с указанием лишь ссылки на страницу в квадратных скобках.

знаменовала для России рождение нового величайшего поэта, создателя непревзойденных образцов оригинальной философской лирики.

Действительно, Тютчев прежде всего поэт-философ, и созданная им лирика – философская. Можно даже сказать, что Тютчев явил в своем творчестве эталон философской лирики. Но что стоит за этой констатацией? Обе составляющие приведенной формулы (и поэт, и философ) представляются в ней одинаково важными: пожалуй, именно в Тютчеве (равно как и в Пушкине) полнее и глубже всего сказалась «натура античная в отношении к художеству» (А. С. Хомяков). В свое время Л. Я. Гинзбург предложила отнести философскую лирику Тютчева даже не к поэзии мысли, а к «поэзии смыслов», чья отличительная черта – затрудненное восприятие «непривычного и многозначного (символического) слова, которое возбуждает колеблющиеся признаки и конструирует образы, не поддающиеся единственно верному истолкованию» [Гинзбург, 1982, 226]. Мысль чувствующая и чувство размышляющее – вот эталон истинной «поэзии смыслов», которой в полной мере соответствует философская лирика Тютчева.

Таким образом, отмеченная нами разновидность философской лирики меньше всего напоминает дискурсивную поэзию, или рифмованный катехизис. Так называемая поэзия смыслов – не что иное, как индивидуальная поэтическая мифология. И говорить о ее вторичности, т. е. производности от каких-либо философских учений, будь то философия Шеллинга, Шопенгауэра, Паскаля или полумифологические созерцания древнейших милетцев, совершенно бессмысленно. Примечательно в этом отношении высказывание Ф. Шеллинга из его же «Эстетики»: «Однако эта мифология (мифология поэтов нового времени. – О. З.) все же обязательно будет творчески созданной и не может быть составлена по указке определенных идей философии, ведь в этом случае было бы невозможно дать ей самостоятельную поэтическую жизнь» [Шеллинг, 1966, 149].

В качестве подтверждения высказанной мысли обратимся к известному стихотворению Тютчева «О чем ты воешь, ветр ночной?..» Конкретным поводом к его написанию могла стать и совершенно банальная бытовая ситуация – завывание ночного ветра в печной трубе. Но глубинный смысл этого поэтического создания, конечно же, не покрывается наличным биографическим и автопсихологическим материалом: для Тютчева как поэта-мыслителя прежде всего характерно стремление, оттолкнувшись от конкретной психологической ситуации, выйти в область родовой сущности человека, его метапсихологии. Поэтому в указанном стихотворении разворачивается, по сути, один из самых ярких и вдохновенных космологических и антропософских мифов – величайшее в истории человечества откровение о родовой природе человека:

О, страшных песен сих не пой
Про древний хаос, про родимый!
Как жадно мир души ночной
Внимает повести любимой!
Из смертной рвется он груди,

Он с беспредельным жаждет слиться!..
 О, бурь заснувших не буди –
 Под ними хаос шевелится!.. [57].

В контексте современной антропологической ситуации особенно важно отметить, что философская лирика Тютчева запечатлела прежде всего «глубокий нравственный разлад между природою и человеком» [Недоброво, 2000, 301], о чем свидетельствуют такие стихотворения, как «Сижу задумчив и один...», «Певучесть есть в морских волнах...», «Природа – сфинкс. И тем она верней...», «От жизни той, что бушевала здесь...».

Причина этого разлада, по Тютчеву, заключается в том, что «мыслящий тростник», или «сей знак земной», человек наделен развитым самосознанием, способностью к рефлексии, чувством нравственной свободы, что противопоставляет его стихийной природе, которая и «знать не знает о былом». Но, с точки зрения Тютчева, драматичны не только отношения человека и природы. Принципиальный разлад во внутреннем мире личности (стихотворение «Silentium!») диктуется уже неустранимыми противоречиями как в области объективной, родовой природы творчества (между автором и читателем), так и в субъективной сфере художественного выражения (между смыслом и языком):

Как сердцу высказать себя?
 Другому как понять тебя?
 Поймет ли он, чем ты живешь?
 Мысль изреченная есть ложь.
 Взрываая, возмутишь ключи, –
 Питайся ими – и молчи [46].

Призыв к молчанию – выстраданная позиция художника, по сути единственная форма, адекватная внутреннему содержанию личности, снимающая неизбежные противоречия и контрверзы «диалога» сознаний.

Проблема человека разрабатывается Тютчевым сразу же в двух ключах: с точки зрения природного универсума, в свете идеала «очарованного странника», которому «отверста вся земля», который «видит все и славит Бога» (стихотворения «Странник», «Лебедь», «Цицерон»), и одновременно с точки зрения внутренней противоречивости, драматизма индивидуального бытия («Безумие», «Сижу задумчив и один...»). Второй путь философствования выводил поэта к критике пантеизма, в которой, по словам немецкого философа Шеллинга, «идет речь вообще не о том, что Бог есть все (уклониться от признания этого трудно и при обычном понимании его свойств), а о том, что вещи суть ничто, что эта система уничтожает всякую индивидуальность» [Шеллинг, 1989, 94]. В определении пантеизма Тютчев очень рано усматривает некоторую двусмысленность: универсально-природный план «жизни божеско-всемирной» контрастирует с осознанием конечности человеческого существования, – в силу этого его представление о личности уже не укладывается в традиционные рамки пантеистической философии, а заключает в себе

драматическое опровержение самих основ системы пантеизма. По удивительно точному замечанию В. А. Грехнева, «именно о неповторимости личности у Тютчева разбивается идея пантеистического бессмертия» [Грехнев, 1973, 487].

Зафиксированное нами явление актуализирует важнейшую методологическую проблему современного тютчеведения – уяснение целостности художественного мира поэта. Не случайно категория «поэтический мир» получила постоянную прописку в исследованиях тютчевского творчества. Так, в академическом литературоведении предложены различные версии целостной природы поэтического мира Тютчева. В качестве своеобразного интегратора такого рода целостности исследователи предлагают рассматривать то «образ мыслителя» (В. В. Кожин), то эмоционально-эстетическую многоплановость картины мира (Б. Я. Бухштаб), то бинарную оппозицию ценностей (Ю. М. Лотман), то инвариантный сюжет, играющий роль основного мифа тютчевской поэзии (Ю. И. Левин). Стремление доискаться онтологических оснований художественной целостности вполне органично для восприятия лирики Тютчева как некоей индивидуальной поэтической мифологии. Свообразие ее заключается в следующем: если философские системы относятся к «поверхностному» уровню человеческого сознания и вполне исчерпываются дискурсивной практикой, то основные догматы, определяющие персональную мифологию поэта, залегают значительно глубже и принадлежат семиотике культуры и исторической психологии [Лотман, 1993, 153]. На этом основании выглядят вполне закономерными сближения тютчевской поэзии не только с мифологическими интуициями древнейших философов милетской школы, но также и с аксиоматическими установками новейшей онтологии М. Хайдеггера [см.: Созина, 2001]. При этом примечательно, что рефлекс родовой мифологии (например, античной космогонии и натурфилософии или славянской картины мира) не отменяют у Тютчева ярко выраженных черт персональной мифологической системы.

Самое глубокое проникновение в онтологию поэтического мира Тютчева, с нашей точки зрения, демонстрирует Ю. И. Левин. Он не просто констатирует в тютчевской поэзии наличие ведущих структурно-семантических оппозиций или эмоционально-эстетических комплексов типа «бытие – небытие» (Ю. М. Лотман) или «блаженный» – «мертвый» – «бурный» миры (Б. Я. Бухштаб), но и устанавливает ситуационную динамику их развертывания в конкретных текстах поэта, прочерчивая тем самым единый «инвариантный сюжет» его творчества. В самом общем виде данный инвариант, или «мета-сюжет», может быть сведен к следующему: в поэтической онтологии Тютчева как бы сосуществуют два мира, условно говоря, земной и трансцендентный, и соответственно два состояния лирического субъекта – состояние земной тщеты и состояние блаженства или благодати; между этими онтологическими мирами и субъектными состояниями обнаруживаются и взаимные переходы – прежде всего путь «вознесения» и прямо противоположный ему процесс «нисхождения». Таким образом, процесс «преображения» тварного состояния субъекта, нередко идущий с использованием мистических мотивов сна и очарования, и последующее за ним отпадение рефлектирующего

героя от благодати как раз и составляют инвариантную ситуацию тютчевской поэзии. Фундаментальной основой поэтического мира Тютчева выступает в таком случае проблема спасения, находящая свое подтверждение в аксиологической системе христианского мирозерцания [Левин, 1990, 144].

Однако сложность и известная проблематичность интерпретации описанного выше сюжетного инварианта лирики Тютчева в свете христианской системы ценностей обуславливаются, с нашей точки зрения, двумя важнейшими факторами: во-первых, близостью данного сюжетного инварианта к другим религиозно-мифологическим системам (например, буддизму или античной мифологии) и, во-вторых, существенной эволюцией проблемно-содержательного комплекса поэтического мира Тютчева. Обозначенные факторы, будучи взаимосвязанными, не могут рассматриваться в отрыве друг от друга. Но, пожалуй, целесообразнее начать интерпретацию поэтического мира Тютчева с учетом именно второго фактора – художественной эволюции.

Считаясь вполне обоснованно «поэтом системы», философским лириком, сводящим свое поэтическое мирозерцание в некую законченную целостность, Тютчев в то же время предстает и ярко выраженным «поэтом пути», серьезно эволюционирующим лириком. Так, проблему эволюции тютчевской поэзии с особенной остротой поставил Б. М. Козырев в уже цитируемых нами «Письмах о Тютчеве». В общих чертах смысл этой эволюции исследователь выразил следующей формулой: от языческого натурализма – к критике пантеизма и христианскому экзистенциализму. В этом плане важно заметить, что кардинальное обновление духовно-психологического опыта, ощутимо сказавшееся в лирике Тютчева на рубеже 1840–1850-х гг., симптоматично совпало с началом мучительной любви поэта к Е. А. Денисьевой.

Онтология поэтического мира – это своего рода «смысловая матрица» [Исупов, 1983, 29], выступающая по отношению к конкретным текстам поэта как некая инвариантная модель текстопорождения. Применительно к онтологии поэтического мира следует говорить об особой «матрице души» поэта, которую составляет свойственная только данному автору «специфическая интуиция», или «общая примитивно-биологически-интуитивная установка сознания на бытие» [Лосев, 1991, 90].

В контексте наших размышлений об онтологических основах поэтического мира Тютчева особенно важно подчеркнуть, что инвариантная схема тютчевского метасюжета изначально (пусть, может быть, и в имплицитном виде) содержит существеннейшие моменты х р и с т и а н с к о й а н т р о п о л о г и и . Это ощутимо проявляется уже в самом раннем стихотворении Тютчева «Проблеск» (1825), которым К. В. Пигарев открывает первый том истинно художественных созданий поэта в серии «Литературные памятники» (ср.: «Ты скажешь: ангельская лира / Грустит, в пыли, по небесах!», «Как верим верою живою...», «И не дано ничтожной пыли / Дышать Божественным огнем» [I, 9, 10]. Примечательно также, что само фиксирование в сюжете «Проблеска» именно неудачной попытки «преображения» личности свидетельствует о принципиальной тщетности человеческих усилий (самый яркий пример тому в лирике 1830-х гг. – символично-аллегорическое стихотворение «Фон-

тан», доводящее идею «Проблеска» до пластически выраженной эмблематичности; параллельно ему в поздней лирике выступает стихотворение «Е. Н. Анненковой»). Концепт «тщета», согласно словарю В. Даля включающий систему таких значений, как «суетность, суета сует, все мирское, земное, плотское, временное, бренное, прахное, преходящее», в противоположность «вечному, духовному» [Даль, 1990, 446], точнее всего выражает «тварное» состояние лирического субъекта на исходной черте рассматриваемого инвариантного сюжета. Но в ценностно-символической структуре поэтического мира Тютчева ощущению земной «тщеты» как именно безблагодатной сферы, даже при условии героических претензий субъективного идеализма (ср. стихотворение «Безумие»), противостоит иной эмоционально-эстетический полюс – состояние блаженства или благодати.

Заметим, что фиксируемые нами «проблески» христианского мироощущения в лирике Тютчева заграничного периода (1830-е гг.) еще достаточно редки и потому теряются «в общем хоре» нигилистических признаний буддийского толка (ср.: «Дай вкусить уничтоженья, / С миром дремлющим смешай!») или откровенно пантеистических заявлений («Нет, моего к тебе пристрастья / Я скрыть не в силах, мать-Земля!», «День, земнородных оживленье... / Друг человек и богов!» и т. д.). Но даже в ориентированных прежде всего на модель пантеистической натурфилософии стихах поэта 1830-х гг. («Лебедь», «Странник», «Цицерон») «блаженное» состояние лирического субъекта, причастного хотя на миг «жизни божеско-всемирной», связывается у Тютчева с восприятием некоей «благодати», понимаемой отнюдь не только в значении «обилие, избыток, довольство», но и в смысле «наитие свыше», «помощь, ниспосланная свыше, к исполнению воли Божьей» [Даль, 1990, 92]. Тютчев кардинально пересматривает привычную для поэтической традиции XVIII – начала XIX в. семантику «блаженства», не ограничивая ее лишь одним устойчивым значением «покой на лоне природы» [Орлов, 1983, 14].

Особенно выразителен христианский «подтекст» мотива благодати в «молитвенной» лирике поэта второй половины 1850-х гг. (стихотворения «Так, в жизни есть мгновения...», «В часы, когда бывает...», «Успокоение»). В редкие мгновения «земного самозабвения» лирический герой Тютчева оказывается способен обрести состояние внутренней гармонии, преодолев – хотя бы на время – принципиальную раздвоенность человеческой природы. Но, в отличие от лермонтовских молитв («В минуту жизни трудную...», «Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...», «Есть речи – значенье...»), предполагающих в обязательном порядке «трансцендирующий личность творческий акт» (С. Н. Бройтман), достигаемое преображение личности у Тютчева не предусматривает никакого волевого усилия со стороны его лирического героя, а становится лишь в исключительную зависимость от мистической «сообщительности» мира души с природным универсумом. В поэтическом мире Тютчева «благодать, как и рок, стоит над человеком» [Пицкель, 1986, 97], благодать не задействует человека – оттого она и Божья.

Проблема «преображения», или «спасения», составляющая инвариантный сюжет тютчевской поэзии, удивительным образом смыкается с инвариант-

ной ситуацией в лирике Пушкина, смысл которой традиционно усматривается именно в «благостном примирении с жизнью через внутреннее преобразование (разрядка наша. – О. З.) личности, преображающее мир и дающее ощутить его божественность» [Франк, 1990, 450]. О своеобразной «эстетике преображения» применительно к лирике Пушкина пронизательно пишет В. С. Непомнящий: согласно законам этой эстетики лирический герой Пушкина, «переживая в стихотворении некую духовную коллизию ... “выходит” из текста иным, чем “входил” в него» [Непомнящий, 1999, 38–39]. Как показывает современное исследование С. Н. Бройтмана, инвариантной ситуацией в лирике Пушкина «является пересечение субъектной границы между “я” и “другим”, причем этим “другим” может быть и реальный другой человек, и сам “я”, ставший “другим” (героем) по отношению к себе» [Бройтман, 2002, 48]. Если в инвариантном сюжете Пушкина актуализируется прежде всего субъектная граница (грань между «я» и «другим», по С. Н. Бройтману, или между «натуральным я» и «идеальным я», согласно В. С. Непомнящему), то у Тютчева акцент делается именно на драматическом статусе самого «двойного бытия», на проблеме онтологической границы «двух миров» (в этом плане поэзию Тютчева, говоря его же словами, можно вполне обоснованно признать «жилищей двух миров»).

В плане намечаемого нами типологического схождения с Пушкиным важно отметить принципиальное значение для поэтического мира Тютчева темы человеческих страстей. Как известно, для Пушкина в понимании «страстного» начала важнее всего его преобразовательный потенциал, воспринимаемый как основа и возможность грядущего возрождения личности. Об этом точно сказал Вл. В. Гиппиус: «Глубина его [Пушкина] человеческой греховности была в чувственности и, поскольку эта чувственность была чувственностью страдающей, она была страстностью христианского богоощущения» [Гиппиус, 1915, 10]. Тютчев в этом плане, казалось бы, ближе к Боратынскому с его откровенным античным фатализмом. Не случайно Тютчев акцентирует внимание именно на трагической сущности страстей, их убийственной и «буйной слепоте» (стихотворения «О, как убийственно мы любим...», «Предопределение», «Не говори: меня он, как и прежде, любит...», «Близнецы», «Она сидела на полу...», «Две силы есть – две роковые силы...»). Фаталистическая природа страсти явно перевешивает у Тютчева – в противоположность пушкинской концепции христианского провиденциализма.

Показательно, что в поэтическом мире Тютчева страсти придан исключительно сверхличный, космический характер. Страсть, как и благодать, стоит над человеком. По сути, она является субститутотом Рока. Так, отделенные поначалу четкой границей, а в онтологическом отношении – «недоступной чертой», тютчевские миры – «блаженный» и «роковой» (стихотворение «Из края в край, из града в град...») – парадоксальным образом сопрягаются, особенно показательно в «Последней любви» (ср.: «Ты и блаженство и безнадежность»). Также симптоматично, что любовная лирика Тютчева совершенно исключает мотив ревности. Единственное употребление этого слова «Я на тебя гляжу с досадою ревнивой» (из стихотворения «О, не тревожь меня уко-

рой справедливой!») актуализирует непривычную систему значений, а именно «зависть, досаду на больший успех другого» [Даль, 1990, 88].

Однако тютчевская концепция страсти, равно как и весь поэтический мир художника, претерпевает известную эволюцию: как мы уже отмечали, на рубеже 1840–1850-х гг. «центр тяжести» в лирике поэта уже непоправимо смещается из универсума блаженной природы в мир христиански страдающей души. В позднем творчестве Тютчева по контрасту с изнемогающей полной чувств, «избытком упоения», ранее столь привлекательным, предпочтением начинает отдаваться именно «улыбке умиления измученной души» (стихотворение «Сияет солнце, воды блещут...»). В контексте Денисьевского цикла получает оформление иная, поистине христианская, концепция страсти, предполагающая признание искупительной силы страдания и смиренного преклонения перед подвигом стяжания мученического венца (стихотворения «Пошли, Господь, Свою отраду...», «Не раз ты слышала признание...», «О вещая душа моя!», «При посылке Нового Завета», «Когда на то нет Божьего согласия...», «Есть и в моем страдальческом застое...», «Накануне годовщины 4 августа 1864 г.»). Поздние элегии Тютчева (особенно после смерти Е. А. Денисьевой) отмечены высоким строем христианского спиритуализма.

Таким образом, прослеженная нами эволюция художественного мира Тютчева, коренное изменение самого «вектора» духовного развития личности поэта со всей убедительностью заставляют говорить об органической связи его поэтической онтологии и христианской системы ценностей. Смеем надеяться, что для современных читателей это приоткрывает глубоко сокровенный и поучительный смысл «духовных разговоров» русской классической поэзии.

Бройтман С. Н. Проблема инвариантной ситуации в лирике Пушкина // Бройтман С. Н. Тайная поэтика Пушкина. Тверь, 2002.

Гачев Г. О национальной образности русской поэзии (45 натурфилософских романсов на стихи Тютчева) // Гачев Г. Национальные образы мира. М., 1988. С. 174–349.

Гинзбург Л. Я. Опыт философской лирики // Гинзбург Л. Я. О старом и новом. Л., 1982.

Гипциус Вл. В. Пушкин и христианство. Пг., 1915.

Грехнев В. А. Время в композиции стихотворений Тютчева // Изв. АН СССР. Сер. лит и яз. 1973. Т. 32, № 6.

Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. Т. 1. М., 1990.

Исупов К. Г. Онтологические парадоксы Ф. И. Тютчева («Сон на море») // Типологические категории в анализе литературного произведения как целого. Кемерово, 1983.

Кожин В. В. О тютчевской плеяде поэтов // Поэты тютчевской плеяды. М., 1982. С. 3–19.

Козырев Б. М. Письма о Тютчеве. Из третьего письма // Литературное наследство. Федор Иванович Тютчев. Т. 97, кн. 1. М., 1988. С. 97–112.

Курганов Е. Тютчев-мыслитель // Звезда. 1999. № 6.

Левин Ю. И. Инвариантный сюжет лирики Тютчева // Тютчевский сборник: Статьи о жизни и творчестве Ф. И. Тютчева / Под общ. ред. Ю. М. Лотмана. Таллин, 1990.

Литературное наследство. Федор Иванович Тютчев. Т. 97, кн. 1. М., 1988.

Лосев А. Ф. Диалектика мифа // Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. М., 1991.

Лотман Ю. М. Поэтический мир Тютчева // Лотман Ю. М. Избр. ст.: В 3 т. Т. 3. Таллин, 1993.

Недоброво Н. В. О Тютчеве // *Вопр. литературы.* 2000. № 6.

Непомятый В. С. Феномен Пушкина как научная проблема: Дис. [в форме науч. докл.]... докт. филол. наук. М., 1999.

Орлов П. А. Счастье и блаженство в поэзии XVIII – начала XIX века // *Рус. речь.* 1983. № 5.

Пицкель Ф. Н. Тютчев-диалектик: (О своеобразии поэзии Ф. И. Тютчева) // *Рус. литература.* 1986. № 2.

Созина Е. К. Поэтический дискурс Ф. И. Тютчева // *Эволюция форм художественного сознания в русской литературе: феноменологические принципы литературоведческого исследования.* Сб. ст. Екатеринбург, 2001.

Топоров В. Н. Заметки о поэзии Тютчева: (Еще раз о связях с немецким романтизмом и шеллингианством) // *Тютчевский сб.: Ст. о жизни и творчестве Ф. И. Тютчева / Под общ. ред. Ю. М. Лотмана.* Таллин, 1990.

Тургенев И. С. Несколько слов о стихотворениях Ф. И. Тютчева // *Тургенев И. С. Ст. и воспоминания.* М., 1981. С. 106.

Тынянов Ю. Н. Вопрос о Тютчеве // *Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино.* М., 1977.

Тютчев Ф. И. Лирика: В 2 т. Т. 1. М., 1965.

Тютчев Ф. И. Соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1980.

Франк С. Л. О задачах познания Пушкина // *Пушкин в русской философской критике, конец XIX – первая половина XX в.* М., 1990.

Шеллинг Ф. В. Сочинения: В 2 т. Т. 2. М., 1989.

Шеллинг Ф. Философия искусства. М., 1966.

В. И. Копалов

Ф. И. ТЮТЧЕВ – ДИПЛОМАТ И МЫСЛИТЕЛЬ

Велико, знать, о Русь, твое значенье!
Мужайся, стой, крепись и одолей!

Ф. И. Тютчев

В год 200-летия со дня рождения Тютчева открыт памятник поэту. В Мюнхене... В городе, где начиналась и проходила на протяжении почти двадцати лет его дипломатическая деятельность. Умеем ли мы, его соотечественники, чтить, ценить и воздавать должное великому русскому поэту, дипломату и мыслителю, который явился наиболее пронизательным выразителем нашей национальной духовной субстанции...

Тютчев – великий русский поэт, это неоспоримая истина. Однако по роду своей деятельности он на протяжении полувека был связан с дипломатической службой и внешней политикой России. Многие русские писатели этого времени были всецело связаны с литературной деятельностью. У Тютчева основное поприще – дипломатия. И нередко свое поэтическое дарование он использовал в политических целях. Видный исследователь творчества Тютчева В. В. Кожин говорил о «прикладном характере» целого ряда стихотво-